

Леонид
Юзефович

Леонид
Юзефович
Казарова



Издательство
АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ю20

Оформление переплета — *Елена Сергеева*

Юзефович, Леонид Абрамович.

Ю20 Казароза : [роман, рассказы] / Леонид Юзефович. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. — 413, [3] с. — (Новая русская классика).

ISBN 978-5-17-103897-7

«Казароза» — про Пермь 1920 года. В город, всего год как отбитый красными у колчаковцев, с гастролью приезжает петербургская певичка Зинаида Казароза. Во время выступления в местном эсперанто-клубе, прямо на сцене, ее убивают. Под подозрением эсперантисты — люди все очень пылкие, но скользкие. Вот-вот будет раскрыт мировой заговор последователей создателя эсперанто Людвиг Заменгофа...

В 1975-м двое участников той истории, старики, встречаются заново. «Казароза» есть воспоминание.

...«Казароза» — роман не об убийстве, а о чувстве истории. Об утраченном времени».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-103897-7

© Леонид Юзефович
© ООО «Издательство АСТ»

КАЗАРОЗА

1920/1975

РОМАН

Тяжек воздух нам земли.

А.С. Пушкин

Глава 1

ТАИТЯНКА

Песок был усеян мертвыми поденками. Тысячи бабочек рваной белой каймой обрамляли берег, плотной ряской покрывали воду. Лодка шла сквозь постепенно редеющие, пляшущие у бортов невесомые тушки вчерашних именинниц, на волне от парохода мама придерживала бидон с керосином, и во сне он понимал, что это 1919 год, лето, последнее лето, когда родители были живы. Они уже разрешали курить при себе, он сидел в корме с папирской. Правый берег накануне заняли красные, от артобстрела на обрыве темнели воронки с потеками оплывшего, как горячий воск, песка, но левый, городской, еще подчинялся Омску. Туда и плыли, чтобы на следующий день увидеть, как в тополиной व्यуге, летящей от сада Александра I, в просторечии — Козьего загона, мимо кинематографа «Лоранж» идет к вокзалу пехота, и, обгоняя

колонну, прижимая ее к заборам, проезжает в автомобиле генерал Укко-Уговец с плоским невозмутимым лицом лапландского охотника. Полгода назад в настоящей декабрьской метели он первым ворвался в город со своими сибирскими стрелками, а теперь уводил их обратно на восток. Пришлось в разгаре лета возвращаться с дачи в город. Плыли через Каму, солнце вспыхивало в оставляемых веслами водоворотях. Ангельские хоры звучали в небесах:

Сло-овно как лебедь по глади прозрачной,
Тихо качаясь, плывет наш че-елнок...

Чтобы понять, что это всего лишь «Баркарола» Шуберта, нужно было проснуться.

Вагин потянулся к тумбочке за часами. Он всегда просыпался в начале шестого, когда из трамвайного парка под окнами выходили на маршрут первые трамваи. Стекла, как их ни промазывай, все равно начинали дребезжать, откликаясь на грохот колес и лязганье стрелки. Потом этот звук сливался с другими звуками просыпающейся улицы, переставал быть таким одиноко мучительным, но едва вновь подступал неверный утренний сон, как в соседней комнате звонил будильник, сын вставал и начинал делать зарядку. Последующие водные процедуры сопровождались молодецким фырканьем, совершенно лишним для пятидесятилетнего отца семейства. Господи, ну зачем он так шлепает себя по груди?!

С бесцеремонным стуком ложилась на стол крышка чайника. Сын открывал кухонный кран на полную мощность, но чайник подставлял не сразу, пропуская застоявшуюся в трубах воду. Невестка считала ее вредной для здоровья. Слышать, как водяная струя с полминуты хлещет в раковину, было невыносимо, от ее звона спекалось сердце. Чувство, которое Вагин по утрам испытывал и к сыну, и к невестке, слишком громко спускавшей за собой воду в уборной, и даже к внучке Кате с ее привычкой включать магнитофон раньше, чем вылезет из постели, временами пугало его, настолько оно было похоже на ненависть.

В половине девятого последний раз хлопнула входная дверь, тогда немного отпустило. Он вспомнил, что вчера невестка просила его сходить в школу, посмотреть по журналу Катины оценки. В дневнике их было подозрительно мало. Имелись опасения, что у девочки не всё ладно с учебой, но она это скрывает.

Наступающий день уже не казался таким безнадежно пустым. Одеваясь, завтракая, Вагин не переставал помнить, что сегодня вместо обычной, унизительно бесцельной прогулки ему предстоит прогулка с целью, дело. От этого даже кишечник сработал гораздо лучше.

В школу Катя ездила на трамвае. Как все привилегированные городские школы, находилась она в самом центре, в двухэтажном, из бордового неоштукатуренного кирпича, здании бывшего

Стефановского епархиального училища. Вагин поднялся в учительскую во время урока, нужно было дожидаться перемены, чтобы классные журналы на десять минут заняли свои места в специальных ячейках из крашеной фанеры. Учителя разошлись по классам, лишь две женщины за столами проверяли тетради, в совпадающем ритме перекладывая их из одной стопки в другую, и Майя Антоновна, англичанка, с которой Катя зимой занималась частным образом, стояла у окна с начальственным вида стариком, абсолютно лысым, в длинном плаще из мягкой серой ткани. В обычных магазинах такие плащи не продавались, их носили вышедшие на пенсию областные руководители высшего звена. Из-под плаща виднелось шелковое белое офицерское кашне, тоже примета человека с заслугами, хотя не обязательно военного. Слушая, старик вежливо склонял голову в той старомодной манере, какую Вагин с недавних пор замечал и за собой. Прежде ничего такого за ним не водилось, но теперь он с легкостью употреблял выражения вроде *милостивый государь*, мог поклониться, поцеловать даме ручку или пропустить кого-нибудь в дверях с величавым простираанием руки, словно поступал так всю жизнь и мужественно пронес эти привычки сквозь те времена, когда подобные слова и жесты не были в чести.

Зазвенел звонок, старик повернул голову. Вагин увидел его левое ухо, уродливо прижатое к голому виску, искореженное, жалкое, ничуть не изменив-

шееся за полвека. Фамилия всплыла сразу — Свечников. После смерти Нади юность странно приблизилась, встреча с человеком оттуда не вызвала никаких особенных чувств, кроме привычного, но всякий раз болезненного сожаления, что нельзя рассказать Наде. Он уже хотел подойти, уже мысленно подбирал интонацию первой фразы, чтобы затем произнести эту фамилию и назвать свою, как вдруг почти с физическим чувством тошноты ощутил несоизмеримость того, что когда-то их связывало, с тем, что пролегло между ними. От музыки той жизни остался только ритм, словно кто-то пытался наиграть ее на барабане. Мелодия копилась, как вода, на пороге сознания, но перелиться через него еще не могла.

Медленно, как в тумане, поглотившем Катю с ее оценками, Вагин спустился в раздевалку, отдал технической фанерный номерок, получил пальто, оделся, вышел на улицу. Было тепло, солнечно, тополя стояли в зеленой дымке. Возле школьного крыльца в ряд тянулись облупившиеся за зиму скамейки. Он сел так, чтобы держать под наблюдением крыльцо, и стал ждать, когда выйдет Свечников.

На сухом асфальте мелом начерчены были «классы». Десятый, выпускной, оканчивался двумя дугами вокруг финальной черты, в одной написано было «тюрьма», в другой — «сберкасса». Раньше в этих дугах писали «огонь» и «вода», еще раньше — «война» и «мир», а в те времена, когда он сам гонял по таким квадратам жестянку от сапожной ваксы, — «ад» и «рай».

Лет в шесть мама заставила выучить стишок про
трубочиста Петрушу:

Вот идет Петруша,
Славный трубочист,
Личиком он черен,
А душою чист.

Нечего бояться
Его черноты,
Надо опасаться
Ложной красоты.

Красота нередко
К пагубе ведет,
А его метелка
От огня спасет.

Эпический герой, былинный богатырь с сердцем доброй феи, своей волшебной метелкой он навевал сон, когда Вагин мальчиком боялся грозящего ночью пожара, и он же теперь незримо стоял в карауле над маминой могилой. Где похоронен отец, никто не знал. Обоих с промежутком в неделю скосил брюшняк, но маме повезло умереть дома, а отца забрали в тифозный барак под черным пиратским флагом. Оттуда трупы партиями вывозили в лес и закапывали в разных местах.

Отец снился редко, зато мама постоянно являлась во сне Вагину, бабушке, тете Саше, дочерям тети Саши — всем, кто ее любил. У мамы была лег-

кая душа. Так говорила бабушка: душа легкая, летает где хочет, ангелы отпускают ее с небес на землю, потому что она здесь никому не может причинить вреда. Иногда ее голос, мгновенно узнаваемый даже в шепоте, Вагин слышал и наяву.

Один такой случай запомнился надолго. В тот день его, курьера газеты «Власть труда», отправили в батарею запасного терполка за бракованной лошадьё — ей выпал счастливый жребий не быть пущенной на колбасу, а таскать невесомую по сравнению с пушкой редакционную бричку. Казармы находились на окраине, в той смутно очерченной зоне, где Сибирская улица, удаляясь от Камы, постепенно теряла свой шик главного городского променада и переходила в Сибирский тракт. Во дворе валялись остатки угольных ящиков, зимой пошедших в печи заодно с дефицитным углем. Края досок были облеплены белыми пузырчатыми грибами. Эти грибы питались деревом, как ржа — железом, как вошь — телом, как партийные лозунги — человеческим духом. О битве идей напоминал торчавший из стены кран со свернутой шеей: он делил надвое красиво написанное на штукатурке слово «Кипяток», в котором был замазан, снова вписан, снова тщательно выскоблен и сверху все-таки опять нацарапан многострадальный твердый знак на конце. Ни водопровод, ни котельная давно не работали, тем острее стоял вопрос, как правильно обозначить то, что когда-то текло из этого крана.

Мимо него прошли к конюшне. Обо всем договорились без Вагина, ему приказано было взять

и привести, но батарейские конюхи неожиданно поставили его перед выбором из трех одров, один другого страшнее. Боясь ответственности, он потерянно пялился на эту троицу, пока мама не шепнула: «Вон тот!»

Ее сердце тронул чалый мерин по кличке Глобус. На морде у него, от ноздрей и выше, пересекались тонкие белые полосы. Больше всего они напоминали решетку, но человек, давший ему это имя, сумел прозреть в них высокое сходство с параллелями и меридианами земного шара. Люди с таким зрением теперь встречались часто, а в молодости мерина, видимо, звали как-нибудь по-другому.

Обратно Вагин вернулся с Глобусом, привязал его у входа и поднялся на второй этаж. Редакция находилась на Соликамской, в трех комнатах над старой земской типографией. При Колчаке их занимала канцелярия Союза городов, ведавшего госпиталями и передвижными столовыми для солдат, от бывшего убранства остались массивные столы под истерханным зеленым сукном в чернильных пятнах, обтянутая фольгой кадка с бесстыдно-волосатым стволом пальмы — предмет материнских забот машинистки Нади, громадный шкаф, похожий на дебаркадер, и прибитая к стене эмалированная табличка с надписью «Шапки просить снимать». Ее сохранили здесь как напоминание о диких нравах прежнего режима, поэтому на конечный «ер» в слове «просить» никто не покушался.

В большой комнате сидели двое. Литконсультант Осипов, тайный пьяница со страдающими глазами на хищно-унылом лице раскаявшегося абрека, правил машинопись, его контролировал заместитель редактора Свечников, чьи должностные обязанности внятому определению не поддавались. В руке он сжимал двухцветный, красно-синий карандаш, готовясь пустить его в дело. Это обоюдоострое оружие оставляло следы на всех прочитанных им статьях, гранках и рукописях. Синий грифель использовался для хулы, красный — для похвалы. Голова у Свечникова была тех же цветов — выбритая до синевы, с россыпью красноватых рубцов на виске и за изуродованным левым ухом. Прошлой весной череп ему посеколо каменными брызгами от ударившего в скалу над Сылвой, но неразорвавшегося снаряда. На Великой войне, которую теперь называли империалистической и писали со строчной буквы, не разрывался один снаряд из двадцати, а на Гражданской, особенно в последний год, — каждый третий.

На привязанного под окнами мерина Свечников поглядел без воодушевления, но имя одобрил. Ему нравилось всё, что отзывало мировыми масштабами.

Почеркав то, над чем трудился Осипов, Свечников уселся за свой стол и пригласил Вагина сесть рядом. На столе был расстелен пробный оттиск афиши с программой праздничных мероприятий, посвященных первой годовщине освобождения города от Колчака. Отметить эту дату предстояло